

Аркадий Драгомощенко

БОЛЬШОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СУХОГО ДЕРЕВА

Лишь огни дыхания бодрствуют
в этом граде.

Прашна упанишада.

✓ Уаси № 1

1.

Плавный диск вечера на дуге угасанья,
Дождь льет, неба не видно с утра...
Словно тебя возлюбив, льнет к телу вода,
Не продолжать, прельщаясь размером
и сходством,
Но уходить, ибо ожиданье исчерпано.
А из всего достоянья - фарфор циферблата,
безумное ласточки тело
и помыслы мертвых, чьи имена облетели,
И бесшумны, как мох, перерастающий горло.

Тоннота отступает, а наши знаемена плесень
хрет и цыры их пожирают, как мыши,
И хитрая окись одевает в цветенье наш
разум.

Тополя на окраине. Дрожь.
Из раковин отрицанья небытие ускользает,
Вступая в область рождений, являя природу
моллюска,
И розово небо до отвращенья.

Но впору снисхожденью нас полнить
К разнозыким вещам на перекрестках
сращенья,
отвыканьем измеренных и любовью.
Времена обряжал, точно кукол безмозглых,
то в цветы, то в гниенье,
Счет ведем по песку, подмастерья у смерти,
но чему неизвестно...

Цепенеем от ржавчины перегоревшей печали,
Сколько ее наследуем в изгибах теченья,
В сиянии плесов, в раскаленном горнем
плетеньи!

Стонет отвлечься и сразу - диповник,
Спящие осы в пустом сердце подсолнуха,
Нищее слово и дуновенье в язвящей духоте
насекомых.

За неименьем другого (будто утварь бесценную)
станешь готовить к заключению в вечность:
слоистую глину,
смешающийся воздух,
прикосновенье возлюбленной из немногих,
что-то еще, но столь же пустое -
То, что вчера вело нас, теперь отторгает.
И черной вскипающей кроной по подушке мотает
затылок,

когда рвутся каналы гнилой бечевой,
когда шум в запястьях слабеет, и даже
чуткий слух бритвы его не расслышит
в бешеном флюгерном вое
возвращающем письма,

что нам не писаны...
когда пространством залгавшимся набухает
горизонта черта.

Пальцы невыносимо упрямы!

Хрустальная вещь скорлуна, тающих в себе
золы построения хрупкие и запыленные голоса.

2.

За пределами темных дождей,
Когда души гонит западный ветер и возвращает
водой-сторицей пресной и мутной,
За кустарником медленным терпкой дремоты,
Ослепительный ствол застя всепожирающей боли -

Размеренно, глухо бьется сонное тело
в бездонном облаке ночи
под Июльским гремучим раскатом,
где разбита звезда о камень крылатый, и пена
иглами голубиного снега орошает виски.

Что я скажу тебе? Вечер. У детей растут тени,
К зрачкам слетаются осы. С холодных холмов
катится яблоко и достигает порога,
Сухарь злого смеха крошится во рту.

И уходишь. В оправданье ни слова...
Пеленает усталость сладчайшей истомой все,
что потом всплывает во всеотражающей плазме,
Стрекозы тельце хрустит под пятой.
Стало быть, где-то поблизости мать. Это все, что
известно.

Нар летит меж ветвей и смеется младенец.

И если разлука - чтобы не было встречи,
ни единой, кроме той, что обещана.
Сушит дрок придорожный желтый слух, белый мозг,
Солоны губы от огромного моря, просиявшей полыни,
Под гортанными сводами Бга, по раскаленному веху,
Вниз, нащупь, шевеля бесконечно губами,
Вырывая из себя позвоночник - как же слаб ты! -
В мир, где блеск времени недоступен и речи,
И бессмысленны очи, полны блаженного шума...

3.

Из поколения в поколение - членок пословицы.
Лето или осень, вода или сушь, день или ночь -
Падает светлая пыль, извлеченная звуком из смолистого
блеска,

Ракушечник белый,
В дни садов карий мираж бессмертного глаза,
Щека небритая, цветы или лед, сковавший яремную жилу

Все судьбы, с которыми доводилось встречаться,
схожи с моей,
И ни в одной не прочесть оправдания.
Любовь моя, мы убываем туда, где берут истоки тысячи
изогнутые в дугу простоватым смычком эвклидовой скрип
Потом они забушуют сухим секущим потоком,
Убываем туда, берега оставляя, которым морой были с то
Будто две разных реки в безымянность втекаем— две мер
две жизни, два изумления предрассветных,
Словно порознь, словно отдельно, уповая, как должно,
на последнее единен

Я не спал. И всю ночь мне снились войска,
В открытых глазах стоял смутный пейзаж— войска понурь
двигались,
они искали войну, словно жалость.
Что же сегодня? Колодцы сменили холмы,
Ускользающий луч ринулся от звезд ястребиных
в комнаты, где млечно тлеют холсты и свеже
осенняя наливает крикты подсолнухов.
Нет, вечера поздней осени ни на что не похожи...
Как утомительно они высоки, как ненужно светлы их кра
ны лам
На столах, на подоконниках яблоки теплятся живыми ог
ми,
Здесь дадут нам пахучей воды, настоянной в кувшинах
ночи,
Сядем на камень безгласный у дома— никто ни о чем
нас не спросит,
И вдохнем тонкую россыпь тканей, открывших плиты авт
товского неба,
Лукам трещать над керосиновой лампой корявой и харко
В хитиновом панцире духи предков чрезмерно сложны,
много в них непонятного,
Над зерцалом вечной воды неустанно трудились их руки
изгоняли жалость из сердца,
Старуха, вырастившая воду на камне, как сына в голо
годы,

устал, словно стручок акации, темная, как фосфорический
хлеб

в черствых цветах,

Плачет над измученным снимком - не то отец, не то война,
не то - тепор в фотографической сине сына, не то пожар,
яростный, точно недра всех
горем.

Нарежем роз, наломаем жасмина, охапки папоротника,
Напьемся ночной воды, чтоб не замкнулась крестов изгород
прежде чем следует,

Души жуков в жерле пламени начинают быть красивыми,
Они становятся похожи на обугленных демонов алфавита,
Но только никто не спит и пахнет паленым мясом,
Старуха в жалобном белом платке с лицом хлебным,
на столе нагой нож луны тает в красном плаще у края,
Что называется жизнью? - спросит старуха и ответит, выпи-
ляя хрустящую спину:

Жизнь называется господин Бо-Дзуй-И, бредущий по саду,
Придерживаясь полу дождливого шелка, срезающий орхидею
Что называется жизнью, господин Бо-Дзуй-И? -
Черное яблоко ада в кругах моего итальянского брата.
Что называется смертью - спрошу у себя самого -
Тронешь идущего осторожно рукой, и он обернет злую-бел
голову.

Я люблю тебя, даже не зная есть ли ты вообще,
Но это не память, а что-то другое, сравнимое лишь с гиб-
травой, бегущей по дну за теченьем.

Ковер из стекла, лживое приближение,
Отделять от надежд волокна волос, перебирать их горькие
прыди,

перетирать подводные травы, пробираться к устью.
Морозные книги, белое живьё, белое вино в узких бутылках
Я люблю тебя, даже не зная есть ли ты вообще- есть ли
Устье, где торжество океана напоминает дикого ангела,

цепью из света сковавшего надменные крылья,
К полноте пробираться, именуемой океаном, изрезанной в
хотливо
застылым берегом, словно щелк предвечный безумии
ножницами,

Затем следить бег ящерицы в горючих скалах,
Искать черты недостающие среди обломков кварца, дразнящего
солнце,

недостающие линии, о которых, ворочая камень во рту- трудно
молвить, что принадлежат они только тебе,
даже если нет тебя вовсе, как и меня.

Хорошо тем, у кого возлюбленные умирают, даря печальную
свободу и простоту жизни,
Даже тем, у кого они уезжают, завидую я- память их, что
стеклянный ковер осенней воды, по которому
движутся медленно широкие листья, растративая золото
в маслянистой игре...

Что послужило прообразом рук твоих в неведеньи дремлющих,
средни тому, как в великом малое спит, тая угрозу великому?

Так беспечна в небытии, рассыпанном то тут, то там...
Помнится, когда пили с Останиным, он называл его жемчужиной
объемлющей раковину.

И уходя в пустые страницы, я терпеливо вношу облик твой
в описание редких кристаллов, исчезнувших птичьих пород.
Но быть, быть, быть!- Как ты не понимаешь!
Между словом и словом столько же, сколько между тобою и
мной,

хотя большая близость немыслима,
Сто сотен лет, не меняя значений, катится капелька пота,
брюль

огибая, к губам,

Поворот головы, тень у хрупкой ключицы,
Слишком тонко нарезан сыр, крошится- но он красив,
Вишни не о пламени нам говорят, но о вине прекрасном,
как Бодисатва,

И еще идиоты, доносящие Богу о своих добродетелях еженощно,
И еще отребье, хлынувшее в райские неопалимые кущи,
И еще отрепье культуры на прогнивших вшивых плечах,
Об эту пору мы смотрим в закат и меняем землю с небом
местами.

Есть только предмет в плешивых глагольных лугах,

И мы смотрим в закат, проходящий как должно в урочное время
над дуплистым зубом Кронштадта,
Потому что благостен час, когда из руки падает чашка и
сторож уходит,
Фаянс покрывается черным письмом изощреннейших трещин,
Не рассвело, в водянистом безмолвии спутаны руки вчера
и сегодня,
Как отлечить неживое дерево от живого? Айлы и жимолость...
Айлы запали, а жимолость? - Так тягче нежна в брокении речи,
Бог грамматики дремлет в вороных гнездах словов,
Гений уподобленья меч обнакает над мрамором,
Незаметное прикосновенье - искушенному глазу последнее,
Декабрьский дождь - но как терпеливо - вплетает в куст
бересклета жемчужные нити дурмана.

О, ты еще не утратил рассудка, последний лист, оторванный
ветром,
В слух воспаленный по капле падает щебет, невыятен и тих
кустарник, точно юноша на гравюре - он входит в реку,
Отдался от завтра, вчера и сегодня можно заметить, как
разрушаются пролеты мостов,
наизгрызанных перспективой спасенья.
Отдался от вчера и сегодня, не решаясь спросить
у девушки хромоногой,
оттирающей с моего рукава желтым платком пятно радужной
нефти:
Завтра... Что снег весенний нам скажет? Письмо от поэта,
в котором прочтешь - летит снег, летит, как летел до рож-
денья?

С каждым годом легче идти,
освобождаясь от тяжести лет.
Вот и прожито все, что можно
было прожить.

Пусть теперь каждый день для меня
станет пиром в честь нового года.

Летел снег, сухой, легкий, когда-то.
Летели сосны семена, словно с спавшей свечи,
Одни приезжали, луговое кольцо вечерней Литви на пальце
вращая,

У других дети в венках из одуванчиков пели и танцевали,
грациозные, будто звери еще не изгнанные из рая, и лица их
были светлы подстать солнцу над Гаваоном, и белей
были их зубы снегов на Гермоне,

еще какие-то падали из окон и разбивались, и одежда их
становилась ненужной, потому что теперь у каждого
много одежды, вдоволь хлеба и счастья, и даже червь

на могильной пажити стал тучен и празден.
Летел снег легкий когда-то, летели сосны семена,
Цильца нефритовая переливалась в изломах зеленых -
После грозы вода поднялась, вода успокоилась,

Семена, цветок невзрачный сосны незрим в воздухе,
В отдаленьи падает птица - уже было, не новость, не надо!
Бе паденье лишь угасанье другого, живущего на привязи

источенного повествования,

Далеко отсюда канула птица, Ольшанский проснулся в Риме,
Останин запел в Вырице в честь усекновения тени,

Лапинский усмехнулся презрительно в Киеве,
Блох вскрывал артерии Рембранту, подставив тягучим каплям
ладони,

далеко отсюда канула птица в дрожащие в рост безветрия
травы,

Широко разлилось обещаньем поле пшеницы, петухи гарь клевали
за тыном,

Тяготится песок временами, которые не хотят оживать,
Потому что - человек здесь лишний.

Одиночество Бога прекрасно.

Человек здесь не нужен, он только помеха, соринка в ласковом
мясе сломистого глаза, надетого некогда на остав
нейзака.

Вместо человека ступенчатое воспоминанье о нем, по которому
вечер восходит утешением к небу,

Вверх по реке метут годы хлопья солнечной пены,
Водостоки ревут голосами Эриний, за каждой синью простове-
лосая

нимфа Алекто,

Я за столом в своем доме, которого нет, воротами играю,

Бегут подводные травы, родились с песчаными прядями,
Гляди внимательно, мать, ты просила у Левы, чтобы возвратился
к тебе -

Вот я, Аркадий, крупный, лысый, медлительный, скрывающий в
горсти сор сухих лепестков,
На лице пот, дыханье со свистом рвется из землистой груди,
Я вырываю цветы из медных глин преисподней, ты
сгибаешься грустно под тяжестью роз, пионов, нарциссов,
Капля солнного сока ползет пчелой по позвоночнику света,
Ветка вишни видна в раскрытом окне, старуха на солнцепеке,
На руках шелковицы черная кровь, виден забор, воробыши,
Млечно тлеют холсты и в дверях обозначено тенью появление
женщины.

Я прикоснусь к твоей шее, меня не заметишь, хотя когда-то,
Любуйся Невой, в этих местах мы часами сто-
яли.

Просторны реки берега в землю ушедшей,
Просторней серые дни, отсекая грозную нить горизонта
от смысла,
Мысль, будто локоть косой - сомкнулись две кости,
С сустава надлежит отскоблить немного апрельской лазури,
Чтобы в ней золотисто спелись
терпием меткого рыка скорпион, лев и овен крылатый,
И станет вечер гончарный на кругу возвращений -
В дешуре пыль водяная обретет силу огненной плазмы,-
Спина праведника перемещается в числах бесполых, как дыхание
в отверстиях флейты,

Лицо другого восходит в жарких бестенных рощах,
В сердце у него кукушка - страх бессонницы - бьется.

Ничего я себе не оставил, даже улиц пустынных
В отраженном сияньи серого шествия листьев,
В сердце кукушки бьется монета, одета кристаллическим мехом,
Из горящего платья на перекрестках воздушных ты появляешься,
точно из пены, а за ослеплением грохота-древних
созвездий изумрудно-глубокая сеть.

Я ничего не оставил себе, кроме уменья
читать по узлам тростниковых верного ветра, но и оно поки-
дает,

В дремучем клекоте снега не танцуют приветственно кроны
под скрипучим вороньим размахом,
рубище самоизганья, посох слышать, играючи дверью,
ветер, с юга.

Слышать ос в толщах песчаника, снега слышать бесшумные над
ночными домами, и
поутру многими росами отмывать языка раскаленные язвы.

Нищий в доме, и дому этому благо.

Я прикоснусь к твоей шее, дрожат губы, пестую слово,
Ну что тебе стоит... Придумай как долго оперенная щенка
будет плыть в асфальтических
водах,

Душевенье искать парусами, слышать посох устами.

Теплом чистых окон, стаей свистящих встречать вечер
торжественный, словно кровосмешенье
в венках душистых свечей, перевитых лавром, смородиной, мятою
Сухому дереву у колодца сится сухое дерево,
Радость безмерна моя, но столь же и кратка, точно вернулась
оттуда, где поселились поэты,
чья бывшая речь кипела спиртом Валгаллы, зачиная новую кровь
в сотах гортани,

Снег летел белый когда-то, сухой и легкий.

Лампой седой светит вечность в углы...

Говор железный за дверью.

4.

Друг мой, длинная синяя тень вьется снова
в спиралах желтого света,
Неверное серебро фонарей, откликаясь луне,
не просыпает на скатерти.

Черен мир и широк как затерянный плащ
с тяжким узлом рукавов неразвязанных...

Странной догадке теперь пристало нам покориться,
Случалось, она приходила - но в детстве, когда-то,

когда таяли звезды -

И будто бичом гнала кровь по артериям,
загоняя ее за пределы, где только беспомощность
в паутинных озерах,
и луга беспредельны, кишат хищной травой,
Бессспорно, позже это называлось любовью, а раньше
недугом - дни шелушились, точно старая краска,
И синева низвергалась, сокрушая тонкое тело.

Но уменье читать ветров хитроумную вязь,
прохладное пение лезвия, смерть осенних плодов
оставляет нас понемногу -
Так желаньем одним, недвижим оставаясь,
открываешь дорогу воспоминаньям вовне,
И сердце глухое в студеной мяте купаешь.

Нет, взгляни как летят теперь птицы над нами! -
безмолвно и низко -
и следует небо за ними, опаленное земным метанием,
напоминая улыбку прозрачным скольженьем, что словно
облако, надменных губ не касаясь -
все же приходит, благоухая морозом и льдами.
А губам целовать листья и угли, я слышу - потому что
сужен мир до того, что наши лица похожи,
будто едины мы в плоти,
и рукава ее связаны за спиной в узел намокший -
здесь начало свободы, здесь, отторгая слепок
безглазого воска,
ищем листья, угли и воды, снега и равнины,
А когда находим - теряем, лишь плач сохраняет
сон примет бездыханных..
Чай, слух отмыт тишиной, биение крыла в сизых нитах
тепла,

Чудной зеленью серы трепещет над картой,
Стирал различья ползет нежный дым немоты,

Может и вирямь с росою мы скользи?

Холодной подобны росе на дремлющем стебле?
Но кто на рассвете мы? Кто же мы в полдень!

Драгомощенко - Лапинскому.

Суми зимы за спиной,
Не старит небо ни птицу, ни странника,
Ну так пойди, пойди по дорогам песчанным
 в таиньи тихих волос, словно в пеньи высоком.
Куда ни глянешь, весна! Осока по коже, что дуновенье,
Холодны, горьки ветви неразбуженных осокоров,
 бегущие к стволам и отбегающие от стволов -
геометрия путанная приближений и отдалений.

Если прокувить кору, во рту станет светло и
просторно, будто северный месяц взойдет, разгораясь
 над снегом
рассекая антрацитовой тенью наст решного неба.
Как самому себе сын - так они себе вечность,
тяжкие, мерзлые ветви, текущие в предверье боли.
Сполохом преображенья, иным - проточным, как паводок -
 зрением льет к рассудку весть неистовых почек,
ниспадая туда, где дни сливаются со своими началами
в каждой проталине. Грызет бирюзу и янтарь
 ребенок крепкого воздуха,
Черная соль страниц белоснежных мир мне пророчит,
По кручинке на нить, до скончания века...
Задумались звери, шевеля корнями в глубинах своих
 звериных мыслей,
Единое их существо - теплый темный фонарь
 в сырых проседях леса,
Волк прислушивается к семени, закипающему под лапой,
Человек в деревянных костях, скрипящего, что акробат
 над площадью - дома,
выползая из ватника, шевелится подстать звериному кор-
 ну,
вынимая убитые ноги из сапог обезглавленных.

Он умывает лицо безрадостным бредом ладоней,
Красную рану труда прикрывая стыдливо локтями,
Несите ему брачные одежды, несите!

Дрожат дождями женские плечи,
Заметно различье между речами и взорами,
Вложите в уста ему разные слова и разные легкие вскрики
Чтобы они росли прямо из уст, подстать крыльям,
И несли его к наименованиям, которых доселе не ведал,
даже когда целовал сына, спящего в чреве у матери,
не зная зачем это делает...

Куда ни глянь - весна, точит листья сухие о ветер
осока,
Повсюду солнце в молочных кругах лунного блеска,
Корабли всплывают со дна, гнутся магнитные оси,
Верба машет невиданными цветами в дыму белого воскре-
сенья,

О не плачь, Дево!
Не ридай безутешно, синеву неба выплакавшая очами,
Погляди, Пресвятая, на маки ясные в горючем золоте
прошлогодней жизни,
Погляди, Возлюбленная, на ястреба в лазурной купели!
Люди добрые кардамон в творог замешивают -
Ждать всем осталось совсем недолго.

6.

Зима.

Чем темней за окном,
Тем ярче и строже в стекле отраженном,
где утопаем мы в лицах нам предназначенных,
Согласие грусти, сирень в широком кувшине,
молчанье цветов за стенами, покинувших
свои времена,

Пустое предчувствье...
Жарче и глубже золото у тебя на ключницах,
Острее милые плечи, и резче
птицы невидимой круженье над
крышей.

апрель - июль, 79.

Д Н И

(Воскресенье)

1.

Пригорает капуста на сковородке,
Перец подвешенный увядает, вращаясь,
как паяц в капюшоне душного хохота,
Вяз шумит под окном, мешая слуху
тешить себя тишиной грядущего.

Скрипят старые половицы, надо жить как-то,
Надо любить кого-то, что-то еще нужно...
Осень скоро. Что ж, стало быть, осень.
Позднее скажем: "сколь свежа ее прелесть
в чугунных парках, когда на улицах пусто,
И вечер холодной цепью звенит на шее,
И звезды первый иней кроет голос незвучный.
Что значит - охрипли."

Да, охрипнем, но позже.

Нет, пожалуй, сегодня мы не дрянное вино
станем пить, приятель, -
чтобы лист кленовый видеть парящим
во льдах воздушных.

Повторяя рукой его очертанья, стаканы наполним
бледной от бешенства водкой.

Такой день сегодня... Долгий, великий
и ветреный.

И впрямь, не солгать, день сегодня на славу!
Но мы все болтаем - вон и дерево поутихло -
Наливай поскорее.

(портрет поэта летним утром)

2.

То был не дождь, то голуби роптали
на подоконнике в росистой тишине,
под сизой и сырой корой
скрыв рубиновую россыпь глаз.
И подойдя к окну, и, опершись рукой,
Небритой дергая щекой, он с отвращеньем произнес,
себя цитируя, должно быть -
Ничтожный голубь бьется о стекло,
Печален день, что памятью отмечен... -
Каких-то следовало, лиц. Но от стыда пресекся
голос.

Вдыхая горький городской туман,
Готовя тело скучное к дневному равновесью, он,
отгоняя в сторону докучный дым,
Послушал тень стрижа, метущую по крыше,
А после поглядел туда, где скомкав простыню,
Знакомая, раскинув руки - как труп в пустыне -
на спине ждала невесть чего.

"Долги и эрос,- бормотал,- палье-маше,
занять бы денег... Где? А-а! Сгинешь, как скотина.
Сколь вдохновенно родины вино! Не приведи Господь."

И не рискнув смеяться, он пожевал губами сигаретный
дым,
отметив, впрочем, мимоходом, что слишком был вчера
велиречив:

Овчинка выделки не стоит.

В зеленых хлябях улиц луч сухой слезил глаза, вились,
Но свет лазурный внезапно обратился синевой -
Густой, как ночь в магических зрачках тревоги.
И золото вскричало просыпалась в шарообразных клетках
воздуха, пошла трава на убыль, народы прогоравшего
вины крошились в жилах,
И тело музыки - убийственно, огромно,

Как восьмикрылый зверь вставало над зарей,
расплывших светил на тверди стыли
злые пятна...

Он плюнул на пол, рот отер рукой, и подался вперед,
Встречая тошноту, как Бога давнего - вмиг опустевшим
взором - Невыносимого испытанного Бога
Ужасного в довременном чаду.

3.

И все начинается снова,
Кузнецик убитый встает и стрекочет
на камне,
Впиваются белое жало в мышцы пространства,
Гроза, скованы локти железной травою,
идешь через улицу, шепчешь, как пьяный,
что повторялем себя, повторяем...
В винных шелках гипс желтоглазый, как полдень,
Вдруг являет под пальцами очертания битв -
Стелются волки и псы, белозубым мгновеньем
рассекая до дна омыты век,
Сны приставлены к нам, точно стражи,
Глядимся нагие, глядимся в их рдеющий
панцирь,
Идя через улицу, кружась словно перья,
плывущие вечность в хрустальной сфере паденья.
Сосна разгораясь в смолистом тумане поет,
Перо проплывает, монах серебрится в листве,
Ртуть венозную через соломинку тени
нефритовый месяц пьет из виска
твоего,

И все повторяется, все обрывается снова,
Словно лист камышиной, укалившим кожу,
Татуированный город, окрелье из ягод,
Жены в окнах горят, словно при чтении письма.

10 - 20 августа, 79.

ОКРЕСТЬНОСТЬ

И вот уже начинают

танцевать сумасшедшие листья
в белесом кольце горизонта, в оборванных
линиях бегства,
вспять обращенных пасмурным ветром.

Источник слух леденит, и прозрачность
в нем стынет,
И пристальность в ней, сродни алмазу
в топях стеклянных.

На чистых покровах озер лишь рябь вечерних
ожогов,
Дыханье к дыханию, рукава дождей разметав,
серафимы кричат на безлюдьи,
танцуя, словно сумасшедшие листья...

х х х

Пойдешь по дерну, оставляя след зеркальный,
в котором мертвая любовь увидит вновь, что нет
меня - не очи света ей, один лишь блеск отблеск,
где меркнет след усталый листьев
над полями.

Подалее кусты, в чьих черных сухожильях
маячит колокольня, как игла,
Как центр равновесия пейзажа, в котором нет тебя,
И размышление длится подобно водорослям
в сумраке воды.

23.08.79. (6 утра)